

ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕМ

Мои вчерашние глупости
спрятаны за подкладку.
Прошлое, отпусти
девочку-верхоглядку.

Действие номер два
в странном театре судеб:
свергнуты все слова,
и говорить не будем.

Вышит стихов кувшин –
нынче день прост и светел,
а под ворчание шин
в рифму играет ветер.

Кто-то спросить забыл,
кто-то не смог ответить,
только б хватило сил
всё удержать в секрете.

НАТАЛЬЯ РОДИНА

Кишинёв

СЛЕЗА ЛУНЫ

рассказ

*...и приведи на небо все души, особенно те,
которые более всего нуждаются в Твоём ми-
лосердии.
(из молитвы Венчика Божьего Милосердия)*

– Опять? Что за хрень? Годами одно и то же! – Катерина возвращалась домой, грызя губы и злобно сверля глазами асфальт. Кокошить ненавистью ни в чём не повинных граждан нельзя, но, ох, как хотелось реветь в голос, орать от обиды и крушить всё вокруг.

– Катитесь вы все! Нехай! Уволюсь! Наглую пацанку, лядашую, нерадивую, безграмотную отправляют на курсы повышения квалификации, а меня, отбарабанившую три года, оставляют батрачить!

Она рискнула. Она подошла к директрисе. Она задала вопрос, который не даёт ей покоя много лет, верит ли та в торжество справедливости. И, кто бы сомневался, она ответила:

– Да. Но кто же будет работать? Кто, если не вы?

(Катя пересекла площадь, не испытывая приязни к пустому троллейбусу и свободному месту).

Она набралась храбрости, продолжая верить, что это дешёвый развод, спросила:

– Почему, скажите. Почему справедливость заканчивается на мне? Согласитесь, я заслужила пойти на курсы!

– Да, вы. Но без вас здесь всё развалится.

– У неё стаж работы четыре месяца, из них две недели за свой счёт и месяц в счёт будущего отпуска!

– Зверева, посмотрите на ситуацию с юмором!

– Похохочем, как глупцы командуют умными, и те обязаны им подчиняться!

– Прекратите! Возвращайтесь на рабочее место. Дискуссия окончена!

Катерина поджала губы:

– Где ты, сказочник-враль, со своей шавкой-видимкой, сапогами-скородрыгами, дырявым ковром-са-

моходом и нешлифованной неволебебной палкой? Сдулся? Надавать бы тебе взащей! Глупости, сказки ваши. С них все разводы и начинаются.

В супермаркете, продолжая развенчивать сказочную несправедливость, прошла молочный отдел и миновала бакалею. Глаз ничто не радовало.

– Домой! – и тут... На неё, осклабясь, в упор пялился торт.

По акции неслыханной щедрости именно он продавался со скидкой в тридцать процентов. Катя прочла:

– «Пчёлка». Полоски на месте. Поверх – дурацкие крылья над и улыбка под глазами. – Взяла торт и заняла очередь к кассе в самом хвосте:

– Сладкое вредно, когда жизнь приторная. А мне – в самый раз.

Перед нею, непрестанно копошась в хозяйственной сумке, хватаясь за бока и охая, пытался стоять скрюченный дедок.

– И где твои детки, кашейка убогонький? – переключаясь с торта на него, зыркнула Катя. – Ох уж, нам эти, косящие под Божьи одуванчики. Стоит-качается, а всё туда же: в очередь за счастьем. Нет его. И справедливости нет! И никогда не было. Ни сейчас, ни в детстве.

Тихий час в средней группе круглосуточного сада санаторного типа достиг самой сладостной фазы, когда Софья Павловна, голубоглазая воспитательница, с кудряшками-барашками, обрамлявшими голову, как нимб, подошла к кровати Катюшки.

Та спала на правом боку, подложив обе ладошки под правую щёку, укрыв нос-кнопочку одеялом. Так она засыпала. Так научила её мама. Из-под одеяла торчало только левое ухо и отросшие, но ещё короткие вихорки. Всё красивее, чем бритая под мальчика голова.

Сон был безмятежным и тихим-тихим. Катюшка давно забыла обиду и простила маме, папе, тёте с жужжащей машинкой, воспитательницам и директору сада свою под ноль голую раздетую голову.

– Нельзя, – уговаривала мама, – запрещено в саду с круглосуточным пребыванием, ты можешь заразиться вшами. – Мама говорила правильно, утвердительно, по-взрослому, она ведь учительница русского языка и литературы.

– Почему нужно брить голову только мне? – хныкала Катя. – Разве Наташа Дичкова не может заразиться вшами?

– Наташа – самая красивая девочка в группе, – отрезала мама.

– Значит, я не самая красивая? Значит, некрасивых девочек можно брить, а красивых нет? – расплакалась Катюшка. – У Наташи и чубчик, и волосы останутся, а у меня ничего?

– Хорошо, – нехотя уступила мама, – пожалуйста, оставьте чубчик. Только покороче, – обратилась она к парикмахерше, которая порядком устала от детских слёз и материнских неубедительных доводов.

Девочка улыбнулась во сне. Мама пообещала, когда Катюшка закончит садик и пойдёт в первый класс, ей разрешат отращивать волосы, чтобы потом заплетать в косы. А уж, если мама обещала, так и будет. Это было секретом и жарким желанием, поэтому Катюша принесла с собой в садик любимую жемчужную бусину из своей коллекции драгоценностей: в то время такие «драгоценности» были у каждой девочки, и у каждой была своя, неповторимая. Бусина была крупная, молочного цвета и радужными переливами, Катя хранила и жалела её, потому что мама сказала, что это Слеза Луны. Девочка слушала маму и думала: «Луна тоже плачет, потому что лысая, нет у неё ни хвостиков, ни косичек, жалко, волосы у неё никогда не вырастут, она этого очень стесняется, поэтому от стыда светит только ночью». Дома Катя загодя завернула лунную слезу в носовой платок и надёжно упрятала на дне кармана платья, а в роще на прогулке разрыла ложбинку, положила бусину на дно и прикрыла стёклышком. Осколок стекла накрыла листом, чтобы никто не нашёл. За этим занятием её застал Толя, мальчик из старшей группы:

– Секрет закопала? Да? Не бойсь, никому не скажу.

Катюшка молча, вопросительно смотрела на Толика, но он заверил:

– Я сказал – могила, – приклонился к девочке и заговорщицки произнёс, – А если я тебе открою свой секрет, не разболтаешь?

– Нееееет... – прошептала Катя.

– Не будешь смеяться?

– Никогда.

– Когда я вырасту, я женюсь на тебе, – признался Толик, вынул руку из-за спины и протянул цветок. Катя приняла его, разгладила смятые лепестки и поинтересовалась:

– А что мы будем делать, когда поженимся?

Толя взял Катюшу за руку:

– Мы всю жизнь будем держаться друг за дружку, – и они рука об руку вернулись к детям.

Чужие секреты, доверчивость, наив и незыблемая вера в чудеса всегда соблазнительны любопытным и завистливым. У Катюшиной и Толиной тайны они были. Трём любознательным малышам из средней группы было столь интересно, что прятала в земляной яминке девочка, одарённая за это цветком, что, дождавшись, когда «жених с тили-тили-тестой» ушли, разрыли «секрет» и не обнаружили ничего, кроме щербатой, далеко не круглой бусины. Одна обладательница очаровательных глаз, рта и носа – сила. И эта сила была утроена, плюс к предыдущим достоинствам, у зрительниц были острые длинные язычки. Как драчливые воробышки, собравшиеся у одной хлебной корки, они веселились, пихая и толкая друг друга. Слеза Луны взлетала в небо, падала на землю, её поднимали, она перекатывалась из рук в руки и снова уносилась к облакам, снова падала, пыталась прятаться в листьях, её с визгом находили, снова подбрасывали и роняли. Не знали девочки, что Толя решил вернуться и проверить сохранность клада. Он спас бусину. Он принял решение сбересть её и унёс домой.

Софья Павловна, хмурясь, смотрела на спящую девочку:

– Опять, паршивка, спрятала хлеб за батареей. Говорила же с твоей матерью. Педагог она, видите ли, старших классов. Гнидая интеллигентщина! Предупреждала, директору расскажу. В результате? Ни-че-го! Сытый голодного не разумеет! – чтобы не испугать, легко коснулась детского плеча. Катя разлепила глазёнки. Склонившись, на неё смотрела, приветливо улыбающаяся Софья Павловна:

– Тссс... Пойдём со мной, – улыбаясь, пришепёвывала воспитательница, помогая девочке подняться, – тссс, тихо-тихо, детки спят, нельзя их будить.

Софья Павловна крепко жала Катину ладонку. А та – рада стараться! За руку взяла, значит, любит, как Толик!

Воспитательница ввела девочку в туалет, отпустила руку и, улыбаясь, сняла с крючка длинное вафельное полотенце. Обернувшись, улыбнулась девочке, та – в ответ. Софья Павловна завязала узел на одном конце полотенца, открыла кран и подставила узел под воду. Катя заворуженно смотрела на спорные движения воспитательницы и улыбалась во весь рот: «Третий секрет за день! Как здорово!».

Тем временем женщина, держа свободный конец полотенца в руке, сдвинула Катину ладонь и начала хлестать девочку полотенцем, куда ни попадая. Лущевала и шипела:

– Тихо! Не смей орать! Дети спят!

Онемев от боли, внезапности, несправедливости и предательства, девочка и не кричала, только беззвучно смотрела в упор, в самый центр зрачков холодной, тотальной жестокости, широко распахнув глаза. Софья Павловна колотила и колотила упрямую непослушную девчонку, желая выдавить из неё хотя бы писк, но та молчала, только таращилась и не отводила немигающего взгляда. И настал момент, когда воспитательница устала махать рукой. Отбросив полотенце, схватила девочку за волосы. Катя застонала, с ужасом наблюдая улыбку, сменившуюся звериным оскалом. Софья Павловна мотала ребёнка из стороны в сторону, как будто в неё вселился бес, без пощады и без остановки, пока не выдрала клочок волос. Шарахнулась прочь от девочки и, забыв о детях и тихом часе, заорала:

– Пшла вон! Спать! Я приказываю!

Трясаясь всем телом, втянув голову в плечи, крепко прижав кулачки к груди, в страхе, что издевательства ещё не закончены, избитая Катя попятилась из туалета, прошла мимо спящих детей, нашла свою кровать и забилась с головой под одеяло.

Странно, никто не подходил к ней, не будил, не поднимал с постели. Она встала сама, сама оделась, вышла в столовую, нашла на столике полдник, пригубила сок и горько расплакалась. Звенело в ушах. Противная дрожь не унималась. К ней прибавилась тошнота. Услышала голоса и пошла туда, где смеялись девочки и мальчики её группы.

За детским столиком на детском стульчике в окружении ребят сидела Софья Павловна и рисовала. В струящемся на голову свете, кудряшки поддакивали её движениям, шевелились и напоминали смятые лепестки Толиного цветка:

– А сейчас я нарисую Наташеньку. Ах, какая красивая девочка, умница, и платье у неё в цветочек!

Дети гадали, каждому из них хотелось увидеть свой портрет в исполнении доброй воспитательницы.

– А теперь я нарисую Васеньку. Что ты хочешь, Васенька? Шарик? Какого цвета? Жёлтого? Вот, какой шарик у Васеньки!

А потом воспитательница рисовала Мишу, Машу, Витю, Колю. И все они улыбались, держали в руках книжки, цветы, ленточки.

Катя стояла поодаль, слушала, и ей очень хотелось, чтобы Софья Павловна нарисовала её, Катю-Катюшу-Катюню-Катеньку, неважно, с чем в руках, но, чтобы в платье на пояске, с двумя хвостиками с бантами, широкой улыбкой и рядом, чтобы кошка или собака, или, ладно, Толя за руку держит. Нет, не надо Толю. И за руку не надо. Она приблизилась к столику. Девочку била дрожь, и прижатые к груди руки, помогали её немного утишить. Обращаясь к воспитательнице, попросила:

– Нарисуйте меня... пожалуйста...

Кудряшки насторожились, забеспокоились, встопорщились, и Софья Павловна подняла на Катю прозрачные глаза:

– Тебя?! Дети, вы слышали, она хочет, чтобы я её нарисовала! Знайте, дети, уродин запрещается рисовать! А вдруг кто-нибудь посмотрит и умрёт от страха?

– ... пожалуйста, как Наташу Дичкову.

– Дети, посмотрите на неё: глаза красные, лицо распухло! На голове кровь! А руки? Прижала к себе, трясётся, чтобы не оторвали? Разве так хорошие дети стоят, когда просят?! Они держат руки по швам!

Кудряшки опять принялись поддакивать, ребята заливались дружным смехом, но Катя не отходила. Софья Павловна, не осознавая и не принимая великодушия беззлобного детского сердца, поддерживаемая ребячьим хохотом, положила перед собой чистый лист бумаги и стала рисовать, приговаривая:

– Она уродина, правда, ребята? Мы её такой и нарисуем: с грязным лицом, спутанными волосами и кривыми руками-крюками.

Катюшка проплакала весь остаток дня под обидную дразнилку ребятшек: «Рёва-корёва, дай молока, сколько стоит, два пятака!».

На следующий день пришла другая воспитательница.

Катя вздрогнула.

– Эй, деда, что у вас? – рявкнула кассирша.

– Винегрет, детка. Бабушка моя померла, а я так люблю винегрет. А вот померла... померла... некому готовить, не с кем за стол сесть, не с кем, – бормотал, бормотал, вылавливал из кармана монеты и выкладывал по одной на прилавок. Обернулся и, обращаясь к Кате, – Подорожал... я копеечка к копеечке взял, сейчас достану. Извини, детка.

Глядя сверху вниз на запрокинутое сморщенное лицо вдовца, его глаукомные очки, Катя содрогнулась: «Мамины глаза». Спросила у продащицы:

– Сколько не хватает? Приплюсуйте к моему счёту.

Они вышли из магазина четвером. Катя с улыбающейся «Пчёлкой» поддерживала сухонького пожилого мужчину с пластиковой круглой коробочкой.

– Давай-ка, присядем, детка, ноги не держат. Намаялся в очереди. И они расположились на лавочке недалеко от магазина.

Василий Венедиктович вспоминал о милушке Нюсеньке, которая звала его Васяткой. Как предавали они земле своего единственного сына Анатолия, который так и остался бобылём, и не родил отцу с матерью дитёнка. Как умер от укуса бешеной собаки, защищая чужого. Оплакивали его оба. Но совсем скоро Василий остался без милой жинки-дружины, оплакивая их обоих. И позвал его к себе Господь в услужение. Теперь при церкви помогает сёстрам-монахиням.

– Однажды, сидя в трапезной, – разоткровенничался он, – утлядел в окне крест, обернулся и увидал в другом ещё три на Храме. Подумал: «Меж Божьими крестами сижу. Загадаю-ка желание, пусть исполнится».

– И какое?

– Так, детка, чтобы Предвечный Наш за Нюсенькой-то присматривал, а мне шkodить не позволял.

– А был повод?

– Эж, и не один. Да бесовское это, от лукавого. Но это по молодости мы все грешим, а о грехе не ведаем. – Василий Венедиктович сунул руку во внутренний карман пиджака и просиял.

– Наверное, недостающие монеты нашёл, – подумала Екатерина, – плюс один винегрет!

А старик продолжил:

– Вышел я из трапезной, подставил лицо солнечным лучам и зажмурился, – морщинки Васятки брызнули враспынную.

Нега поднялась из глубин навстречу свету, залила теплом и любовью сердце, Екатерина задрала голову и подмигнула солнцу. И впервые после смерти мамы поведала о своём житье-бытье.

– Сколько лет тебе, дитя?

– Шестьдесят.

– А ей?

– Лет сто было бы на сегодняшний день.

– Где ты сейчас?

– Здесь, с вами.

– А она?

– ...

Воздух затаился и не дышал. Екатерина подняла глаза. Не шелохнувшись, обернувшийся в слух, ссутулясь, сидел пожилой человек, автоматически поглаживая коробочку с вингетом. В их доверительную беседу вливалось солнце.

– Я все эти годы страстно хотела найти объяснение тому, что случилось, – расплакалась Катя, – мучительно искала ответ, желая, понять. У меня нет сил оправдать, и нет желания назначать себя судьёй.

– В тебе до сих пор кричит заплаканный ребёнок. За всё Господа благодарить надобно. Ты молись, детка, за обижавших тебя. А тайна навсегда останется тайной. Так правильно. Праведно. По-божески. Пути Господни неисповедимы. – Василий Венедиктович перекрестил Катю. – Ну-ка, закрой глаза, детка, и ладонь подставь. Не подглядывать! – озорник собрал Катины пальцы в кулак.

Катя почувствовала щекотное касание, и что-то маленькое в ладонном гнездышке. «Всё-таки, решил денежку отдать», – подумала и услышала:

– Это секрет, детка. Пора мне, Боженька во Храме заждался, волнуется, поди, – поднимаясь, добавил, – Душа Софьи больше всего нуждается в твоём маленьком детском прощении во отпущении грехов, чтобы великое прощение и милосердие Божие привели её на небо для упокоения в мире Христовом. Улыбнись, детка!

Глядя вслед Божьему созданию, Катя почувствовала, что униженная крохотная девочка выпрямилась в ней, запрокинула голову, отняла руки от лица, развела их крылами и выпорхнула в небо. Пришло осознание. И в сердце воссиял свет! И до мозга костей её проничало молитвенное прошение:

«...и приведи на Небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоём милосердии». Катерина раскрыла ладонь. Холодя кожу, на ней покоилась крупная жемчужная бусина.

Первое, что сделала Катя, вернувшись домой – отрезала «Пчёлкину» медовую улыбку. Ела, наслаждалась, смеялась и плакала от счастья, повторяя: «Улыбайся, детка!».

ПАВЕЛ ПОЛИЩУК

Кишинёв

КАДЫК НЬЮ-ЙОРКА

Когда нет диктофона под рукой,
Чтобы запомнить все слова и мысли,
А я сижу у моря, бьёт прибой,
У моря, из которого мы вышли
Полмиллиарда лет назад, в Палеозой,
Осознаю больною головой,
Как мало в жизни поводов для рифмы.
Ты изменилась, враг смирился, Бог молчит,
И даже смерть, упрямую, как плесень,
Не привлекает изумлённый вид
Моих гримас, стихов и грустных песен.